Дом поэта

(...)

И в это время была опубликована книга Ивана Трифоновича «Родина и чужбина», я начал её читать параллельно со стихами, а потом и вовсе отложил поэзию и полностью погрузился в горькие воды этой удивительной прозы.

Книга Ивана Твардовского необычайно полна, часто в одном абзаце заключён рассказ, а то и повесть. Язык книги своеобразен, как-то детски чист и порою неловок. Здесь предпринята попытка охватить всю историю семьи Твардовских. И главный её герой показан без приукрас.

Возможно, вопреки истинному желанию Ивана Трифоновича, в книге возникает образ своенравного, сановитого даже с родными, словом, забронзовевшего советского поэта-лауреата-депутата, отрекавшегося от семьи – был такой тягостный эпизод, когда Трифон Гордеевич вдвоём с Павлушей явились в Смоленск после бегства из уральского поселения к Дому Советов, где в редакции работал Александр, и тот, выйдя и увидев их, отказал им в помощи и даже пригрозил позвать милиционера.

И в ссылку прислал письмо, в котором писал, что ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, детей...

После пьянящего открытия местности стихотворной прозы младшего брата была как ушат, омут холодной воды. Оглушительное похмелье. Из огня – да в полынью. Проза пробирала до костей. Неукротимый характер Твардовских был показан с документальной дотошностью. Чего стоят только три побега Константина и Ивана из уральского гиблого лагеря, куда Сталин загнал всю семью, исключая Александра. Приключения на «запретных дорогах» стоят целой повести или даже романа. А в книге им посвящено несколько страниц. Завшивленные, голодные, братья мечутся по глубинам родины, сталкиваясь с ворами, милиционерами, рабочими, сердобольными женщинами и теми, кто с готовностью продаст их – был такой негласный закон, что выдавшему беглых спецпереселенцев выплачивалось вознаграждение. А что же Александр?

«...и с окаменелым сердцем шёл он трудной дорогой своих планов», – пишет Иван Трифонович, познавший войну, плен, лагерь, о своём знаменитом брате.

Может ли быть поэт с окаменелым сердцем? Может ли поэт так свысока относиться к простым людям, к тому же шофёру, личному шофёру, который привёз его на Смоленщину однажды, на день рождения брата Константина, и Александр Трифонович даже не пригласил его к столу, ответив на замечание Ивана, что о нём нечего беспокоиться, денег он получает сполна. Или в ответ на просьбу брата, выброшенного судьбой в чужедальнюю степь, о небольшой денежной помощи написать поучительно, что надобно рассчитывать на свои силы. Да и много другого вспоминал Иван Трифонович.

Простые отношения между родными и поэтом словно были поражены недугом. Это сказывалось в жестах, но особенно в речи. Речь Александра Трифоновича в передаче Ивана крайне неприятна, это смесь чего-то почти официального и свойского, но свойского какого-то странного, холодного.

« – Ну, друзья, давайте примем серьёзный вид! – сказал Александр (...). – Я хочу сделать... простите – одарить брата Ивана».

В речи и поступках поэта сквозило что-то механическое. Вне всякого сомнения, он выглядел высокомерным.

И складывалось впечатление, что Александр намеренно отстранялся потом и от Ивана, и от Константина, и от отца, не хотел слышать о пережитом, при встречах сразу сбивал с толку, например, заявлял Ивану, что у него причёска дурна. Поразительно, но Иван так и не сумел поведать поэту о своих мытарствах, о начале войны, которую он встретил рядовым на границе с Финляндией, о пленении, побеге, жизни в Швеции и доверчивом возвращении на родину, крепко *заключившей* его сразу в объятия: Особое совещание решило так – десять лет. И, здравствуй, Находка, а там подан пароход «Миклухо-Маклай», и в ледяных волнах зеков везут на самый край отечества – на Чукотку, где после высадки в пятнадцатиградусный мороз в летней одежде гонят в баню, и кладовщик приветствует голого новичка, с дурной силой ударяя поочерёдно бушлатом, а потом штанами, шапкой, валенками и выкрикивая: «Получай, сука, раз! Два! Три!..» И на нарах Иван вспоминал приём у посла в Стокгольме, вспоминал, как тот радостно встретил его и принёс журнал «Огонёк» со свежим стихотворением брата «О Родине», и, читая строки о тоске *в дальней дали зарубежной* по не богатой ничем стороне, брат поэта плакал.

Но мне уже эти строки читать не хотелось.

Землемер, инспектор комитета счастливых земель, прибывший сюда в командировку, был бы растерян: после такой удачной находки, после открытия, новости, которую сообщил косец в тени серебристого тополя на Васильевском ручье, вдруг узнать всё это. Да и явно не всё.

Ещё не забыть стихи о Сталине, долгое и трудное почитание вождя, которое затем поэт пытался заменить почитанием *истинного* кумира – Ленина, но портрет Сталина, раскуривавшего трубку, так и не отправлял на свалку со стены своей дачи.

О Сталине Иван спросил однажды знаменитого брата-депутата и лауреата прямо: как же, мол, так? Ведь ты его славил? А теперь *резко начал совсем по-другому*?

Сразу дать ответ Александр Трифонович не смог. И вот ответ поэта: «Я так чувствовал. Я подчинялся моим чувствам».

Мне вспоминается похожая реплика одного человека, продавшего родительский дом в обход остальных братьев: «Так было надо». Жалкий, хотя и многозначительный ответ.

Впрочем, как раз землемер из Поднебесной, возможно, и спокойно отнёсся бы к последним упрёкам, если только он был истинным конфуцианцем.

Но мне-то по душе больше природный анархист Чжуан-цзы.

Принуждать себя любить чью-то поэзию или прозу у меня никогда не было и нет резона.

И я решил вернуться к старой трактовке местности: это земля Меркурия. О нём вообще ничего не известно. Только то, что поступил на службу к смоленскому князю, повёл городской полк навстречу с монголо-татарами,

сразился у Долгомостья, победил, но был обезглавлен, да так и вернулся к стенам города, держа свою голову...

Скорее всего его привезли на телеге, пытался я поправить легендарное сказание.

На карте, где была обозначена местность, Сельцо и Загорье, достаточно было просто не очерчивать карандашом. Вот и всё. В конце концов, это наше дело, никому от этого ни холодно, ни жарко. А в будущей книге о поэте можно и не упоминать вообще.

С появлением «Родины и чужбины» разрешилась ещё одна тайна. Взглянув на портрет Ивана Трифоновича, я сразу вспомнил, как возвращался в пригородном поезде из похода и обратил внимание на сидевшего в дальнем углу пожилого человека в пиджаке, «тирольской» шляпе, с легковейной рериховской бородкой. Это было ещё в восьмидесятые годы, фотографии Ивана Трифоновича мне не попадались, так что этот пассажир, отрешённо сидящий в углу и весь ушедший в созерцание бегущих мимо окон пейзажей, показался мне странным и загадочным. В нём было что-то несомненно крестьянское, но от остальных пассажиров с загорелыми открытыми лицами, громко обсуждавших сельские проблемы, он весьма отличался.

Только через несколько лет и этот секрет открылся. Но, конечно, загадка самого человека не могла так просто разрешиться.

С Иваном Трифоновичем я упустил возможность познакомиться. К этому времени я числился в той же писательской организации, что и он, печатался в журналах «Годы», «Под часами», в которых появлялись и его статьи. Это было удивительно. Более того, смоленский поэт Вера Иванова, нежно опекавшая старика в его последние одинокие горькие годы, привезла мне из Загорья «Родину и чужбину» с дарственной надписью автора. Надо было собраться с духом и отправиться в Загорье. Но я всё медлил.

Этот эпизод чем-то напоминает историю с Домом поэта, к которому я так и не вышел тем осенним солнечным вечером.

В Загорье уже приехал по скорбному поводу: Иван Трифонович умер.

Хоронили брата поэта хмурым летним днём. Хутор казался притихшим, невзрачным. В глаза бросилась музейность, неестественность всего. Слышны были речи...

А мне вспоминались строки из его книги: «Я ничего не искал, кроме права жить свободно и честно трудиться, и вся моя жизнь прошла в труде».

Находка

Но легче было сказать, подумать о местности, как крае Меркурия, и только. С той встречи с косцом под серебристым тополем у Васильевского родника – всё не всё, но что-то определённо изменилось. И, бывая в мест-

ности, отдыхая в тени белкинских лип и глядя на засохшие семь ив, я не мог думать только о Тао Юаньмине. Мысли обращались к тем, кто здесь действительно жил.

В обнаруженной старинной карте-схеме смоленских станов Долгомостский стан, как я и предполагал, включал и Белкино, и Сельцо. Жалко было перекраивать эту карту, словно перекраивать историю.

Пожалуй, на сторонний взгляд, здесь и нет никаких проблем. Но пешеходу местности так не казалось.

Поднимаясь по ручью в Васильево и пробуя там вкусные яблоки с одной яблони, вспоминал, что это аркад, я показывал их в Смоленске торговцу яблоками. А Иван Трифонович пишет, что отец мечтал развести сад, посадил яблони и каждую закрепил за кем-то, Александру достался как раз сахарный аркад. И приходило на ум читанное об этом Васильеве, что Васильево – деревня основательная, в ней открыли избу-читальню, где можно было почитать книгу или посмотреть кино. Даже драматический кружок действовал... Руководила им сестра учителя Марья Радькова. В избе-читальне собирались парни и девушки, Яшка из Воскресенска играл на скрипке, часто приходил сюда и загорьевский начинающий поэт, читал стихи. После чтения стихов, как вспоминает местный житель Кошелев, Александра окружали девушки. Кошелев, сам кропавший стишки, честно признаётся, что завидовал.

И здесь, в Васильеве, как и в Белкине, росли берёзы, а одна мне особенно нравилась, высокая и сильная, с какими-то плавными ветвями, потом я её много фотографировал, но ничего хорошего не получалось. Легко снять заснеженный пик или восход солнца в море, а вот берёзу с повислыми ветвями?

Скинув рюкзак и подставив мокрую спину холодящему ветерку, сидел в тени, ел яблоки и думал, что, как ни крути, а главная новость Васильева – это Твардовский и Радькова. Не думать о них здесь было бы смешно и нелепо.

В эту Радькову Александр был влюблён. Семнадцатилетний поэт, хуторянин и селькор, публикующий заметки в газетах, посвятил ей стихотворение, которое прямо и назвал «Любимой»:

Сегодня я влюблённо-тих,
Впиваю нежность глаз твоих,
И сам готов тебе сказать,
Чего не выведала б мать.

По сути, стихотворение связано как раз с этим Васильевом. Много ли тут у нас стихотворных деревень?.. Стихотворных дорог и берёз...

Критик и близкий товарищ смоленских лет Твардовского Македонов пишет, что эта любовь была неразделённой. Так что герой, который видит себя в будущем израненным обрубком, через гражданскую лирику в этом

стихотворении высказывает сердечную боль. *Гроза над тишью нив* быстро оборачивается угрозой будущих сражений. Впереди *строгости войны*: кровь, огонь, ранения... Причудливое двухголосие.

Укромный днепровский берег без дорог, где в молодых дубках я ставил палатку, на царской карте был помечен знаком и словом «Паром». И мне всё-таки удалось разыскать там следы стародавней дороги. Размышляя о том, точнее, о тех, кто здесь мог ездить, вдруг вспомнил, что в стихотворении «У Днепра» речь идёт как раз о пароме. Взгляда на карту было достаточно, чтобы определить: от Загорья именно до этого парома ближайший путь. Через Николу Славажского, деревню Боровую, деревню Мончино. Там дорога и обозначена. И по ней скорее всего и приезжал мальчик с отцом: «И не чудо ль был тот случай: / Старый Днепр средь бела дня / Оказался вдруг под кручей / Впереди на полконя». Отец затормозил телегу, сунув в колёса кол, обнял коня, и они спустились к воде, на паром: «И паром, подавшись косо, / Отпихнулся от земли, / И недвижные колёса, / Воз и я – пошли, пошли...»

Что именно они с отцом возили на тот берег «За неведомой, студёной / Полосой днепровских вод», не уточняется, может, сено на продажу, может, дрова или что-то ещё.

Паром на Днепре, Белкино, Васильево... Славажский Никола – и «Потерянный рай» Мильтона. С высоты Славажского Николы открывался вид на Ляховский лес, где и была найдена эта книга...

А как-то мне попалась статья о сельском библиотекаре Иванове. Он утверждал, что в Ляховском лесу крестьяне, опасаясь казаков после разгрома усадьбы, спрятали пианино, и мальчик Саша из Загорья поведал ему о странных звуках из этого леса. И библиотекарь повёл его туда и показал пианино. По клавишам прыгали синицы, наполняя лес странной музыкой.

В Славажском Николе в ветреные дни и мне мерещилась музыка, точнее, высокое женское пение. Видимо, этой иллюзии способствовал вид старого парка, в котором затаились руины барского дома.

В надежде отыскать какие-то новые сведения о местности я брался за воспоминания о Твардовском, написанные прозаиками, поэтами и его земляками. Так мне попались *семь тетрадей* старшего брата.

Константин Трифонович, потомственный кузнец и ветеран, тоже оставил записки о семье.

Братья Твардовские в один голос замечают, что жили трудно и скудно. Константин добавляет, что и скучно было на хуторе. Существование другой жизни открылось внезапно. Отец взял в аренду землю у помещицы в имении Чернево на север от Загорья четыре примерно версты. На карте 1915 года, которой меня снабдила учительница географии Елена Даниловна, дочь профессора, доктора геолого-минералогических наук Погуляева, это место обведено жирным кружком. Находится оно совсем близко к Славажскому Николе. При чтении воспоминаний Константина Трифоновича и мелькнула

мысль, что именно барский дом в Славажском Николе он и описывает. Семья переехала в Чернево на одно лето, заколотив в Загорье дом.

В Черневе был огромный сад, арендованный другими; дом барыни, выкрашенный в розовый цвет, дом с балконом, перед ним цветочные клумбы. Из города приезжали дочки помещицы, играли, а загорьевские мальчишки смотрели на них во все глаза. Мы девочек-то никогда не видели, кроме нашей двухлетней Нюры, признаётся Константин Трифонович. Появились у загорьевских ребят и друзья, Мирон и Поликарп. В Словаже они ловили раков. (К. Т. тоже пишет название реки, как и на старой карте, через «а», добавляя, что имя это было ласковым). Когда созрели яблоки, Константин оказался в запретном саду, а как иначе? И был пойман молчаливым сторожем. Тот буквально взял его под мышку и отнёс к своей сторожке, заставил простоять до захода солнца на штабеле досок, до прихода отца. Константин удивился, что отец идёт прямо по дорожкам этого запретного сада, никого не опасаясь. Трифон Гордеевич закурил, поговорил с мужиками и забрал сына.

Но разжиться на арендованной земле тоже не получилось, и осенью семья вернулась в Загорье.

«А как было весело – вряд ли смогу передать! – восклицает Константин Трифонович. – Скажу только, я, сейчас пишущий эти строки семидесятилетний старик, вспоминая далёкое детство, очень благодарен отцу, что он отвёз нас в Чернево, и мы с Шурой увидели первые детские радости, незабвенные и поныне.

Так легко мне пишется об этом для нас необыкновенном лете. Главное, ничего не нужно выдумывать, просто вспоминай, переживай вновь золотые дни...»

А мне за светлыми строчками виделись славажские сады.

Стало интересно, нет ли у самого поэта каких-либо свидетельств об этом лете? Взял с полки книгу лирики, а потом и том с поэмами...

Ничего о лете в Черневе обнаружить не удалось.

Но не может быть, чтобы лето это совершенно исчезло, как дождь в пустыне, не оставив следа. Конечно, не исчезло. Как и многое другое... Просто не всё вспомнишь вдруг и не обо всём ясно расскажешь. Смутные образы детства, возможно, и томят тебя всю жизнь. И когда нахлынут звуками и запахами, – оторопь берёт.

Вот и дворик и лето,
Но всё кажется мне,
Что Загорье не это,
А в другой стороне...

С героем поэмы «За далью даль» это происходит в поезде, действительно за тысячи вёрст. На подъезде к Уралу перед ним внезапно распахивается

хуторское глухое подворье, кузница. Лицо обдаёт *запах дыма с дёготьком*... Падает тень *обкуренных берёз*... И слышен звон наковальни

В той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне.

Где меж болот, кустов и леса
Терялись бойкие пути.

Картина безрадостная. Определения: сиротский, трудный, скудный, случайный; крайняя (нужда), усталый, печальный; бедная, обидная, горькая, глухая (жизнь) идут в этом стихотворении густо. Тоска беспросветная. Ничего похожего на записки его старшего брата о лете в Черневе. Да ведь и Константин сетовал на унылую жизнь в Загорье после того лета. И первые строфы главы «Две кузницы» из поэмы «За далью даль» только подтверждают это.

Но буквально через две строфы тусклый жар горна преображает и пронизывает чистым светом всё глухое хуторское подворье:

На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И академией наук.

Речь о кузнице, в которой работал отец. И к нему шли люди. Далее следуют ёмкие характеристики жителей той стороны: это – старый воин с наградами, «мученик-охотник», «дьякон медный», коновал, скупщик еврей. И между этими людьми в кузне идут разговоры, разгораются споры. Здесь слышны пушкинские интонации, на ум приходит «Евгений Онегин» с описанием соседей-помещиков. Градус стихотворения стремительно растёт. Оно рвётся из потёмок к свету. И мы уже созерцаем картину баснословную, величественную, возникшую из «суждений ярых / О недалёкой старине, / О прежних выдумщиках-барах, / Об ихней пище и вине; / О загранице и России, / О хлебных сказочных краях, / О боге, о нечистой силе, / О полководцах и царях; / О нуждах мира волостного, / Затменьях солнца и луны, / О наставленьях Льва Толстого / И притесненьях от казны...»

Малая частица света – ведь это сказано не только о хуторе, но и обо всей местности, осенило меня. Инспектор земельного комитета сразу ухватился бы за это необычное и в то же время совершенно простое определение. А для того, кто занимается фотографией, любительски или профессионально, это как откровение, вспышка. Фотография – светопись, фотограф только и

зависит от света, всегда и всюду он ловит свет и в чтении продолжает свои поиски. Фраза мгновенно слепит. Вот оно!..

...И я снова стал очарованным странником на тропинках этой *малой частицы света*, местности Меркурия – Александра.

Пан

Сейчас склоны холмов, спускающиеся к Ливне, рощи, долинки ручьёв называются урочищем Плескачи. Здесь попадаются богатые малинники. На одном холме малина крупная и сладкая, явно садовая. Поблизости и одичавшие яблони.

Обедневший дворянин Митрофан Яковлевич Плескачевский земли имел порядочно – двадцать десятин. И детей не мало: шесть дочерей и два сына. Удивительно, но сей дворянин не разумел грамоты, как и его жена и большинство детей. А пришлый кузнец, взявший в жёны одну его дочку Марию, грамоту знал и книги любил. Трёхклассную сельскую школу окончил с похвальным листом, учился бы и дальше, если была бы возможность. И относиться он начал к своему тестю иронически, называл его Митрофанушкой.

Молодые сначала попробовали жить у родителей жениха, но там свекровь невзлюбила невестку, и они вернулись в родные места Марии, и поблизости от Плескачей, в Белкине, Трифон Гордеевич арендовал кузницу у польского помещика.

Что за человек был Митрофан Яковлевич, точно неизвестно. Но если судить по его дочери Марии, то доброе сердце в нём можно предположить.

Жизнь без дома и земли для крестьянки-дворянки была внове. Отношение мужа к её отцу – ранило: всякий раз, когда она возвращалась из родительского дома, молодой кузнец, усмехаясь, спрашивал: «Ну, как там твой Митрофанушко?»

В воспоминаниях сыновей – Константина и Ивана – в стихах Александра мать предстаёт добросердечной, чуткой и как будто навечно опечаленной женщиной.

Чем-то Мария Митрофановна напоминает героиню «Крестьянки» Некрасова («Кому на Руси жить хорошо») Матрёну Тимофеевну, что жила до замужества, *как у Христа за пазухой*, просыпалась под песенки брата и снова задрёмывала под шёпот матери: «Спи, милая, касатушка, / Спи, силу запасай!» А там сыскался суженый: «На горе – чужанин!» – печник из других мест. Мать расплакалась: «Как рыбка в море синее / Юркнешь ты! как соловушко / Из гнёздышка порхнёшь! / Чужая-то сторонушка / Не сахаром посыпана». И предвидела всякие тяготы, облекая их в извечные образы трагического: *ветры буйные, чёрны вороны, псы косматые*... Всё сбудется: свёкор и свекровь станут донимать, непосильная работа навалится, мужа не в черёд упекут в солдаты, и даже худшее: погибнет ребёнок.

Почти то же доведётся пережить и смоленской крестьянке Марии. Но смоленской вытерпеть придётся много больше. Крестьянские заботы в семье с семью детьми и ей были уготованы, это бы ещё ничего, хотя и не мало. Особенно трудно пришлось ей, когда на фронт Первой мировой забрали мужа, всё хозяйство пришлось тянуть самой, хотя старший сын-подросток и помогал. Но впереди были испытания горше. В один из дней марта тысяча девятьсот тридцать первого года прибыли на хутор подводы, в которые и были погружены вещички, детям велели занять места, и унылый караван тронулся, скрипя полозьями. В Сельце к ним выбегали деревенские, давали хлеб, кусок сала, кто что мог и хотел. И *дымный дедовский большак* увёл их далеко в северные горные края. Пошли названия: Ляля, Злыгости, Караул, Выя... Гости-то как раз были не злы, а растеряны, напуганы, утомлены. И вот средь уральской тайги бараки, нары, сплав леса, лесозаготовки, жизнь впроголодь, тиф... И ещё название одного тамошнего села: Павда. Для новичка звучит непривычно и даже издевательски. Страдания эти за то, что кузнец, рвущийся из нужды, оказывается, «кулак». Вот такая вам Павда.

Когда муж и три сына будут подаваться в бега из тех гиблых мест, Мария одна станет жить, ждать с маленьким сыном и двумя дочками. Потом за ними прибудет муж и уведёт их по тайге на волю. Один этот голодный путь по диким местам стоит целой книги. Полтора месяца пути в сторону Нижнего Тагила. Как они шли? Чем питались? Где спали? Об этом Иван скупо написал, он в походе не участвовал, вырвался раньше. Сестра Маша рассказывала ему, что иногда отец оставлял их и отправлялся на поиски какого-нибудь селения, чтобы добыть там картошки. А они томительно ждали, гадали, что дальше будет, вернётся отец или нет?

Да и история трёх (!) побегов Ивана и Константина из этой тифозной Ляли, их приключения на *запретных дорогах* прихотлива и необычна, и вся история семьи Твардовских – наш новый эпос. Странно, что никто из режиссёров до сих пор не понял этого. Ничего выдумывать не надо, сюжет готов –жизнь.

Таёжный поход благополучно завершился в Нижнем Тагиле, где на старом демидовском заводе отец проработал несколько месяцев кузнецом, оттуда семья перебралась в богатый колхоз на Вятке. В Смоленск их вернул Александр. Когда он появился в их доме на Вятке... Тут лучше довериться тому, что сама Мария Митрофановна говорила Ивану: «Кажется, одно такое мгновение в жизни стоит того, чтобы жить и быть матерью».

А впереди была война, оккупация, ежеминутные думы о судьбах ушедших на войну сыновей. Иван попал в плен; после войны его ждал лагерь. Константин был ранен. Василий сражался лётчиком, тоже был ранен; после войны через несколько лет он душевно занемог и бросился под поезд. Александра пуля миновала. Он служил в газете, но попадал и под бомбёжку, и противник всегда был рядом.

Но это всё будет потом. А пока:

«Тужила, горько плакала, / А дело девка делала; / На суженого искоса / Поглядывала втай. / Пригож-румян, широк-могуч, / Рус волосом, тих говором». И он *пал* на сердце Матрёне некрасовской.

По душе пришёлся кузнец и Марии. Как сообщает Константин, «был он среднего роста, сероглаз, темно-русый, с светло-рыжими усами, круглолицый, розовощёкий. Седина появилась рано...»

Трифон Гордеевич был, конечно, личностью неординарной. Когда местный шляхтич – из Церковища над Ливной – по фамилии Княжище-Либертович знакомил кузнеца с семейством Плескачевских, то рекомендовал его так: «Пан Твардовский». И кузнецу это понравилось, и он всю жизнь как будто и хотел стать паном, то есть крепким хозяином, у которого и хлеба достаточно, и *сало заходит за сало*, – оканчиваются одни припасы, но уже есть и новые. По крайней мере, желание это было горячим, пока новые власти его не повыстудили.

У Трифона Гордеевича был хороший голос, в детстве он пел в церковном хоре даже... хотя к религии относился равнодушно. Кузнец любил слушать новые и старые песни и пел сам. И любил он книгу. Больше всего по душе ему были стихи – их ведь можно петь. Ершовского «Конька-Горбунка» он знал наизусть чуть ли не всего. Пел всю поэму «Коробейники». На загорьевском хуторе по вечерам часто читали книги, стихи, Гоголя, Лескова. Читал отец, останавливался, чтобы отметить особенно удавшееся место. И домочадцы согласно кивали... В этом деревенском глухом углу была маленькая, но библиотека. И не из *милордов глупых*: Лермонтов, Пушкин, Некрасов, Аксаков, Фет, Тютчев. Ручаюсь, что не в каждой современной городской квартире есть подобная библиотека.

Трифон Гордеевич был двужильный работник. И думал осуществить свою мечту: стать крепко на земле, на своей земле. В Белкине он арендовал кузницу, в Загорье уже поднимал землю, пахал и сеял и выкорчёвывал. Дело в том, что земля ему досталась незавидная, в болотцах, кустах и пнях от бывшего когда-то здесь леса. Землю ещё надо было отвоевать. И он с утра до вечера работал, отводил воду, вырубал кусты, возил навоз. Правда, как замечает Иван, вдруг мог уткнуться в книгу и всё забыть.

Ещё он любил лошадей. Уже в Барсуках, деревне, где родился и вырос, на скопленные деньги открыл кузницу, а потом купил гнедого, пять лет не ходившего в упряжке, но, как пишет Константин, смог его покорить лаской.

В Загорье тоже были лошади. Трифон Гордеевич ездил в Ельню на конные ярмарки, любовался лошадями, потом в подробностях рассказывал об этом дома. Но приобрести хорошую лошадь не получалось: не было денег.

А всё же под конец хуторской жизни появился приличный жеребец. Трифон Гордеевич его выгуливал во дворе, заставлял подыматься на дыбы, переплясывать, потом на него вскакивал Константин, а все хуторяне стояли и

глазели. Этого жеребца пришлось отдать после вступления в сельхозартель, вынужденного, разумеется: власть давила индивидуальным налогом. И, отдав жеребца, отец лицом потемнел. На третий или пятый день не удержался и пошёл в Ляхово посмотреть на коня. И нашёл его привязанным в жару в рое слепней и мух. Жеребец запутался, стоять ему было неловко... В Загорье отец вернулся верхом.

Эту выходку скорее всего ему припомнили, когда объявили кулаком. Коня забрали на следующий день. Трифон Гордеевич не мог уже оставаться в Загорье и ждать неизвестно чего. Жизнь такая была для него мукой. И он подался на заработки в Донбасс.

Пытал он счастье на стороне и раньше. Ездил, например, вместе с другими мужиками в саратовскую землю. Работал он и в Мурыгине у тамошнего кузнеца, возвращался в выходной, приносил кульки с гостинцами, деньги, много рассказывал.

Большая семья его жила трудно, но не голодала. Сам кузнец умел хорошо приодеться, в костюм и хромовые сапоги, да ещё носил шляпу, что среди местных жителей было не принято. Ивана Трифоновича в конце восьмидесятых я тоже приметил прежде всего из-за шляпы среди обычных пассажиров пригородного поезда.

В Трифоне Гордеевиче говорила недюжинная сила его отца, служившего солдатом в Варшаве Гордея Васильевича.

Бывший артиллерист Гордей Васильевич – в чёрном мундире, с трубочкой – шагает за пенсией в город, которая по тем временам была приличной – три рубля... Вот с этого деда, рослого, с бородой, покуривающего трубочку, и надо бы начинать фильм «Пан Твардовский», – как он идёт по Ельнинскому большаку. Некоторые исследователи жизни и творчества поэта полагают, что именно с описания деда Александр Твардовский и хотел начать свою заветную книгу, которая называлась бы «Пан» или «Пан Твардовский», и в рабочих тетрадях он даёт такое описание. Но ещё ярче описывает деда старший его внук – Константин, помнивший его, конечно, лучше всех остальных братьев, хотя любимым внуком у Гордея Васильевича был Шурилка-Мурилка, его-то он и одаривал в первую голову каким-нибудь гостинцем, *пряничным конём*, вернувшись из Смоленска. Но вот это описание: «Деда, Гордея Васильевича Твардовского, как бы впервые увидел, когда мне было лет пять. Это был очень старый человек, выше среднего роста, седой – с прозеленью в густых волосах, с такой же седой бородой не очень большой, но лысины у него не было. Опершись на длинную палку и держа под мышкой большую книгу в переплёте из дерева и кожи, дед пас скотину и читал эту книгу».

Поразительно, как Трифон Гордеевич сумел вызволить семью из уральской Ляли, а потом обосноваться на Вятке в колхозе и наладить сносную жизнь. Интересный эпизод, свидетельствующий о силе и энергичности этого человека. Когда он вышел в первый раз из Ляли вдвоём с Павлушей и до-

брался до Загорья, его впустил в дом и оставил ночевать один из соседей. Сосед этот и сдал беглецов. Повели их в Ляхово через лес. Но уже совсем стемнело, тогда решили переночевать на хуторе. Оба разделись до нижнего белья, легли. Стерёг их один мужик с пистолетом в руке. И глубокой ночью стражник спёкся. А кузнец сиганул, в чём был, в окно. Сына вынужден был оставить, полагая, что мальчишке ничего не сделают. И сорок вёрст пробирался босой, в одном белье в Краснинский уезд, где жил двоюродный брат.

Такой правёж устроила новая власть своим труженикам. Крадись по родной земле, как тать, не знай покоя ни днём, ни ночью. Людей и целые народы сдувало по лицу земли, как перекати-поле в пустынях. Какая уж тут страна Муравия!.. Быть бы живу...

Двоекнижие

«Родину и чужбину» Ивана Трифоновича я перечитывал не раз, трудно остановиться, начав, это какая-то неотвратимая книга. И снова проза и поэзия затевали нешуточную борьбу. Суровым свидетельствам Ивана противостояли стихи Александра. Не перечили, не переиначивали, а воздвигали что-то во мне самом, в читателе. И словно бы в колеях долгой дороги мерцали, бликовали осколки чистого света.

Образу лауреата «с окаменелым сердцем» противостоял образ певца, солдата с крестьянской душой, обречённого на укоры и муки и наделённого голосом чистым, светлым, тёплым...

Крестьянство Александра Твардовского в бытовом смысле отмечали многие, знавшие его. Его коллега по «Новому миру» А. Кондратович пишет, что Твардовский остерегался переходить улицы, минутами ждал, еду любил простую, деревенскую, в кафе брал варёное яйцо, кусок мяса, сало. В застолье всегда пел. С наслаждением работал на земле, правда, это уже был подмосковный дачный участок...

Но он оставался крестьянином и по сути своей. Критики тех лет как раз и упрекали автора в том, что его Андрей Сивцов, Василий Тёркин – не советские колхозники, пошедшие на фронт, а всё те же стародавние русские крестьяне, каким был и Никита Моргунок. И какими были, можем добавить мы, некрасовские Савелий, Ермил, толстовские и тургеневские крестьяне, мужик Марей Достоевского. Песнь к земле из «Василия Тёркина» – из глубины крестьянского сердца.

Какие-то строчки и стихи вызывают досаду, недоумение, неприятие. Особенно горько, когда случаются подобные вещи со стихами превосходными, как, например «– Ты откуда эту песню...». Стихотворение – как напев у окна, за которым туманится то ли поле, то ли дорога, а на самом деле – время в образе реки:

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой.

Сын спрашивает у матери об этой песне, и она растолковывает, что так пели в приднепровских местах, когда отдавали замуж девушку на другой берег, и та лила слёзы, как будто прощалась с родным домом навек. (К слову, поэт где-то говорит, что мать очень тосковала по родному дому, хотя был он рядом, в десяти–двенадцати верстах от Загорья, имение Плескачи.) Но это всё были *девичьи слёзы*. Ещё горше пришлось, «Как иные перевозы / В жизни видеть привелось».

Мы знаем, о каких перевозах речь.

Путь их был далёк – на Урал, в лесной барак. Смоленские крестьяне и без того усвоили некоторые исторические уроки пограничной земли, по которой то лях с огнём пройдёт, то француз, и красно не строились в деревнях. А после этого урока Сталина смоленская деревня, кажется, навсегда обрела заунывный и какой-то временный облик: хаты ютятся, как будто пытаясь остаться незамеченными.

Как с земли родного края
Вдаль спровадила пора.
Там текла река другая –
Шире нашего Днепра,

– продолжает поэт, и читатель здесь крепко спотыкается вот об эту «пору». Глаза ещё раз пробегают строчки. «Вдаль спровадила пора». Эти слова поражают своей вялостью. Бессильное *благоречие* и жалкая замена табуированного имени. Такому восприятию способствует и дата под стихотворением: 1965.

Тут современный читатель вспоминает, что уже и «Один день Ивана Денисовича» напечатан. Самим же автором стихотворения и опубликован.

Но – перечитываю стихотворение ещё раз и понимаю простую вещь: ведь оно начинается с диалога сына и матери, а разворачивается уже негромким монологом *матери*. И всё здесь – голос матери.

«Мать моя, Мария Митрофановна, была всегда очень впечатлительна и чутка, даже не без сентиментальности», – писал Александр Твардовский в «Автобиографии», а в рабочих тетрадях добавлял, что она «была почти во всем полной противоположностью отцу – мягкой души, дружелюбная и уступчивая».

Поэт вовсе не изобретал *благоречия* для этого стихотворения. Да и зачем? Он прекрасно знал речь своей матери, вот и всё.

Отжитое – пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалёку
И последний перевоз.

Всё стихотворение пронизано током времён и Времени, здесь, как в течении реки, смешиваются различные слои – поддонные ледяные и прогретые солнцем, время личное соединяется со временем историческим, но не только. В последней строфе молодой перевозчик-водогребщик уже «старичок седой», и с «той стороны» веет безвременьем, тем, что в ведах названо: «нечто единое ничто иное».

Песнь в устах молодой матери рисует образ суженого, и невольно видишь молодого кузнеца, пришедшего однажды в имение Плескачи. Песнь в чужих снегах, где *леса темнее, зимы лютей*, уже словно бы обращена скорее к любимому сыну (а это и был поэт, оставшийся в далёком Смоленске, в газете, и надо заметить, что и здесь нащупывается нерв разногласий между братьями; по крайней мере, эту глубинную ревность полезно учитывать, читая воспоминания). Александр Твардовский, как известно, и вызволил семью из тисков чужбины. Песнь, исполненная в стихотворении в третий раз, по существу, уже и не имеет адресата. Точнее – он запределен.

Так что «пора», спровадившая семью на чужбину, определение весьма органичное в этом стихотворении. И ясно всё это мне стало именно в процессе последних рассуждений, приступая к «разбору», я был уверен, что глубокое и чарующее стихотворение о перевозчике-водогребщике ослаблено, подпорчено буквально одной строкой.

Пример выбран неудачно. Возьмём другой... Но это уже будет что-то слишком очевидное, а потому и неинтересное. А мне хочется ещё поделиться некоторыми соображениями о последнем стихотворении.

Александр Твардовский не раз предельно ясно заявлял, что он – атеист. Вообще семья Твардовских не была религиозна, о чём говорят многие и прежде всего сами Твардовские. Константин Трифонович рассказывает, как был посрамлён местный колдун. Когда несколько крестьян засобирались в Самарскую губернию, где, по слухам, после голода пустовали большие сёла и земли, попытать судьбу решил и Трифон Гордеевич. На дорогу продана была корова. Какой-то вечный Некрасов! Ехать искать богатство в голодный край. Трифон Гордеевич нашёл там малярию и вернулся, мучимый ею, а в доме денег не было даже на лекарство, и, чтобы купить экзотический хинин, Константину пришлось отнести в Починок на базар яйца.

Ещё когда крестьяне были в отлучке, их жёны, Мария Митрофановна в том числе, ходили к колдуну. Он вещал по какой-то большой книге, которую называл *чёрной магией*. Правда, вряд ли и сам знал и понимал, что там написано. Но о крестьянах-искателях с уверенностью говорил, что они ходят

по сёлам, выбирают. И ждёт их удача. И вот все они вернулись, а колдун ещё ничего не знал. Александр и Константин подговорили мать ещё раз пойти к прорицателю. И тот снова *видел* крестьян в далёкой самарской земле, а они уже сидели по домам, рассказывали о страшном запустении и пыли, зное... С тех пор, заключает Константин Трифонович, мать перестала верить и колдунам, и попам.

А ведь о христианских мотивах в творчестве поэта рассуждают филологи, одна работа названа «Христианская аксиология в художественном мире А. Т. Твардовского». Подобные вещи можно было бы воспринимать скептически. Но не следует торопиться.

Вот то же стихотворение про перевозчика-водогребщика, предпоследняя строфа:

Отжитое – пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалёку
И последний перевоз,

– в ней прочитывается скрытая надежда на воздаяние. С кого какой спрос *здесь*, если близка вечность. И что произойдёт дальше, никому не ведомо. Ну и последнее обращение к перевозчику-водогребщику, старичку седому, с просьбой перевезти *домой* усиливает мифологическое звучание всего стихотворения. Вообще перед нами классическое восхождение от метафоры к символу, если вспомнить толкование того и другого А. Ф. Лосевым в его труде «Проблема символа и реалистическое искусство». Если в начале стихотворения перевозчик и река – метафора жениха и порога, родного дома, то в конце река уже символ времени, а перевозчик архетипическая фигура посредника между миром живых и миром мёртвых. «Подлинная символика, – писал Лосев, – есть уже выход за пределы чисто художественной стороны произведения. Необходимо, чтобы художественное произведение в целом конструировалось и переживалось как указание на некоторого рода инородную перспективу, на бесконечный ряд всевозможных своих перевоплощений».

Стихотворение « – Ты откуда эту песню...» и распахивает эту перспективу.

В ведах в «Гимне познанию» поётся:

Некоторый видя не видит Речи
некоторый слыша её не слышит
но которому она отдаётся
как жена в нарядах ему супруга.

Надо читать и перечитывать Твардовского, чтобы вполне понимать его Речь.

Речь Твардовского пленяет, это родная стихия, в ней хочется пребывать бесконечно. Хотя в ней много горечи, страдания, как, например, в лучшем творении поэта – в поэме «Дом у дороги». Это коренная, совершенная вещь. Здесь судьба всей России. Этот дом стоял в двенадцатом веке, в девятнадцатом, в двадцатом, и рядом сквозил смертельный ветер, а крестьянин слагал напев: «Коси, коса, / Пока роса, / Роса долой – / И мы домой». Напев этот получил особое звучание, когда началась война. Война смахнула дом у дороги. Но, исполнив свой тяжкий кровавый труд, крестьянин вернулся на старое место и взялся за возведение нового дома. И выходил на луг, чтобы в косьбе забыться, не слышать пустой дом, приготовленный для семьи, ещё не вернувшейся из неволи...

В предпоследних строках поэт сам определил суть поэмы: это боль, страсть, печаль и вера в счастье.

Этот *взывающий с тоской и страстью голос* и есть сам поэт. И этот образ сильнее всех иных.

Надо признать, что интереснейшей книге Ивана Трифоновича не хватает завершённости. Мастер-краснодеревщик и умелый рассказчик так и не сказал необходимых каких-то последних слов, преодолевающих всё. А читатель ждёт этих слов, как глотка воды в жару. Эти слова уже роятся в самом читателе, слова, возносящие всё куда-то, слова, с которых осыпается шелуха каких-то мелочей, слова горячие и самосветящиеся.

Но младший брат не нашёл этих слов.

Может быть, он посчитал своё дело – возведение нового хутора в Загорье – ценнее и понятнее любых слов. В этом непростом деле сказалась его любовь и к отцу, и к матери, и ко всем своим родичам Твардовским.

Вероятно, ему показалось это досужим и нечестным – подслащивать правду под занавес. Правда за себя говорит, какие ещё необходимы комментарии? Пусть читатель и рассудит. И читателю отрешиться от этой книги просто так нет никакой возможности. Читатель и начинает судить да рядить... И как раз без стихов Александра Твардовского и не возьмёшь необходимую высоту для этих суждений.

Здесь как будто сталкиваются две правды: правда поэзии и правда жизни-прозы.

Иван Трифонович свято был уверен, что книга его и есть сама правда. Но всегда ли он справедлив в своих оценках, суждениях?

Вступая в спор с критиками, считавшими отца суровым – и порою чрезмерно – человеком, Иван Трифонович подвергает, например, сомнению подлинность случая, описанного Александром Трифоновичем в стихотворении, сохранившемся только в черновиках, а после смерти поэта опубликованном. Это «Кнут». Под звёздами в город, чтобы с утра пораньше оказаться на базаре, едут на телеге отец с мальчишкой сыном, и тот теряет кнут, пока отец дремлет. Дальше идёт драматического накала диалог:

– Батя, он был цел, лежал вот тут...
– Отправляйся и найди мне кнут.
– Батя, не найду я. Темнота.
– Не моги вернуться без кнута.
– Батя, забоюсь я...
– Посвищи...
– Батя, не найдёшь его...
– Ищи!
– Батя, я пойду, я поищу...
– Не найдёшь, так шкуру всю спущу...

Странным образом это стихотворение перекликается с романтическим «Лесным царём» Пушкина. Только тут – жестокий реализм. Отец вовсе не оберегает сына, а, наоборот, толкает его в лапы страхов, что таятся в темноте. «Щ» и «ш» свистят здесь невидимым кнутом так, что морозец по коже...

Иван Трифонович говорит, что этого случая никто не мог припомнить, и заключает, что в книге Кондратовича «Александр Твардовский», в которой приведено это стихотворение, есть *авторское преувеличение*. Можно эту реплику понять так, что и всё стихотворение – преувеличение самого поэта. В автобиографии Александр Трифонович «ни словом не обмолвился о каких-то там чрезмерных жестокостях отца».

Через несколько страниц Иван Трифонович повествует о том, как отправил его отец по осени верхом на лошади, принадлежавшей родственнику, в Смоленск, где этот родственник и жил. И ехал Иван «верхом сорок вёрст без седла и привычки» и «почувствовал то самое место, которым сидел, и липким, и больным, но деваться некуда, терпел до конца». Родственник дивился: «Сорок же вёрст! Ну и дядька Трифон!.. Ну-ка, покажи, как там у тебя, сколько кожи потерял?»

Какое заключение можно сделать из сопоставления этих эпизодов? Вывод прост: эпизод и подтверждает подлинность стихотворения – даже если всё в стихотворении выдумано. Всё, да не всё.

Странно, что сам Иван Трифонович не увидел, что эпизод с лошадью перекликается со стихотворением и с ещё большей силой *узаконивает* его.

После этого наблюдения мы вправе и всё остальное тщательнее взвешивать и сопоставлять. И в первую очередь всё то, что касается быта. Здесь Ивана Трифоновича щепетильным не назовёшь. А ведь можно было бы какие-то моменты и вовсе не поминать. Кто-то давал трезвящий совет: вообразите себя персонажем рассказа Чехова.

Вообразите, что о вашем быте будет повествовать кто-то достаточно беспощадный. Думается, что от такой привилегии отказался бы и сам Иван Трифонович.

Вопрос о поэте с окаменелым сердцем снова требует своего разрешения. И сразу он звучал у меня, читателя «Родины и чужбины», так: может ли быть

поэт с окаменелым сердцем? И почему-то в голову не пришло поставить вопрос по-другому: а какое сердце бьётся сквозь строки «Страны Муравии»? Или в стихотворении «Я убит подо Ржевом». Да и в любом живом стихотворении Твардовского. С окаменелым сердцем этого не напишешь.

Но, вероятно, Иван Трифонович хотел сказать этой метафорой сердца нечто другое. Неожиданную помощь здесь подаёт Карл Юнг. В своей работе «Психология и поэтическое творчество», рассуждая о творческой личности, которая всегда – загадка, он пытается эту загадку раскрыть и, между прочим, пишет, что «человек оказывается обычно настолько обескровленным ради своего творческого начала, что может как-то жить лишь на примитивном или вообще сниженном уровне».

Это соображение бросает на строки Ивана Трифоновича особенный свет: «...и с окаменелым сердцем шёл он трудной дорогой своих планов».

Замечание об окаменелом сердце вырвалось в то время, когда семья Твардовских бедовала в ссылке. А вокруг поэта стягивалось кольцо лающих о кулацком подголоске. Поэта травили, он был загнан. Но в это же время рождалась «Страна Муравия».

И впереди был «Тёркин», а ещё «Дом у дороги» и другие поэмы и стихи. Лучшие военные стихи всё-таки написал именно Твардовский. «Я убит подо Ржевом» погружает нас на архетипическую, какую-то священную глубину, а точнее, глубоко возносит. Голос убитого пронзает насквозь как пуля. Но ничего не кончается тут же, этот голос звучит и потом будет звучать при любом случайном воспоминании об этом стихотворении или даже при упоминании Ржева.

Пройдёт время, и «Василий Тёркин» прочно встанет вровень со «Словом о полку Игореве». Да уже и сейчас ясно, что это наши лучшие воинские поэмы.

А то, что люди с поэтическим складом ума и души способны прозревать будущее, не раз подтверждалось примерами.

Сам Александр Твардовский случайно это засвидетельствовал, рассуждая о новом своём герое, ещё не выявленном, смутном, пока более фельетонном, мелькнувшем на страницах фронтовой газеты финляндской войны: «При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет её любимец, нарицательное имя». Имя это – Василий Тёркин.

Снова уместно привлечь Юнга: «Так получает удовлетворение душевная потребность того или иного народа в творении поэта, и поэтому творение означает для поэта поистине больше, чем личная судьба, – безразлично, знает ли это он сам или нет. Автор представляет собой в глубочайшем смысле инструмент...»

Поэзия не то чтобы победила, но оказалась убедительнее прозы.

Но и то, и другое уже нераздельно. И, возможно, в этом залог особого бытования поэзии Твардовского. По крайней мере, у меня, как читателя, ещё не бывало подобного драматического опыта постижения. Это своеобразное двоекнижие создаёт объём, пронизанный токами.